

## Глава 29. Гостинцы.

В больнице она разучилась спать. Да и не только спать — плакать разучилась, есть со вкусом, петь, смеяться, писать чернилами. Чуть забылась и тут же с испугом дёрнула головой — в коридоре что-то грохнуло. Это Отарик-сторож принёс дрова и бросил у печи. Ещё недавно «печной час» приходился на полные сумерки за окном, а сейчас уже светлее, дни удлиняются, скоро весна.

Первое время Нина считала дни, даже часы, потом перестала: бесполезно считать. Врачиха словно решила навсегда оставить её в этих скучных стенах, выкрашенных синей масляной краской.

«Скоро выпишем!» — это Галина Яковлевна повторяет постоянно, лишь бы подбодрить. Но Нине даже не разрешают вставать с постели, день и ночь пичкают её таблетками, колют, слушают в трубку — конца нет.

Домой бы! В лес бы сходить! Но Галина Яковлевна твердит одно: «Погоди, Ниночка, погоди, уже скоро...»

Потрескивают поленья в печи. Тишина. Нина одна в палате.

Ничего не было милей раньше, как эти фантазии: если бы она летать могла... если бы стала певицей... Фантазии отрывали от земли, наполняли душу свежестью неба. Ну, давай подумаем о чём-нибудь хорошем-прехорошем! Чтобы тепло стало, как весной на солнышке. Чтобы нежное-нежное, как пух с деревьев, как первый снег. Вот, кажется, ресниц уже коснулось что-то необычное, лёгкое... Но в эту минуту из глубины: а ты помнишь, что ещё было в дневнике? Ах, боже, и они об этом читали! Как стыдно, стыдно, стыдно. Почему она не умерла на той поляне!

За дверью палаты гости сговариваются, входят с улыбками. Но слухи и сквозь больничные стены проникают. В другое время ей показалось бы это чудовищным: выгнать из школы Сергея Эргисовича! Но теперь она не удивлялась: они всеильны, эти кылбановы, они втопчут в грязь, кого пожелают. Ведь поверила же им даже мама!

Бедная мама. Она подолгу сидит у постели и всё говорит, говорит. Нина знает: маме тяжело, она раскаивается, она страдает... Но чем она может помочь маме? Ничем. Она одна виновата во всём, но нечем, решительно нечем искупить вину. О, если бы она могла сделать что-нибудь! Почему она не умерла!

Одного она не знает, что думает о ней Сергей Эргисович. Несколько раз он приходил, шутил, смеялся, говорил о пустяках. Но это всё называется — «у ложа больной...». А сам — изгнанный, опозоренный ею, описанный в этом проклятом дневнике. Дневник — главное ему обвинение, из-за дневника его и выгнали. С Сергеем Эргисовичем у неё язык совсем отнимается. «Да» или «нет», одним словечком ответит, ни разу даже не взглянула ему в лицо.

— Да-да, войдите, — поспешно натянула одеяло до подбородка.

Вошёл Аласов. Присел к кровати.

— Здравствуй, Нина. Говорят, ты уже молодцом? А я из райцентра подарок тебе привёз.

— Спасибо...

Книжка. А ей на секунду подумалось, что гостинец — это хорошая новость. Книжки ей надоели. И хорошие, и любые — всё в них не похоже, не так, как в жизни. Он ещё что-то говорил о книжке, о погоде, о ветеранах войны: ребята разыскали каких-то необыкновенных стариков... А Нина слушала его и гадала: что же в райцентре, удачно он съездил или неудачно?

В коридоре опять затопали, приоткрылась дверь. Вера явилась!

— Вера, заходи!

Та вошла, застеснялась при учителе.

— Проходи, Вера, садись вот сюда. Я уже собрался... Ты, Ниночка, давай поправляйся скорей. К следующему моему приходу книжку прочти. Гляди, спрошу!

— Ну что он? — зашептала Вера, когда они остались одни. — О чём вы тут говорили? Как он к тебе? А что в райцентре, с хорошими новостями?

— Нет... не сказал ничего. Книгу вот принёс.

Вера взяла, повертела книгу в руках, пожав плечами, вернула обратно.

— Нинка, закрой глаза! Гоп-ля! Открывай!

Шлёпнулась знакомая общая тетрадь в голубой обложке. Нина схватила её, поднесла к глазам. Сколько часов вечерами проведено над ней, какие сокровенные тайны поверены!

— Где взяла?

— Фёдор Баглаевич вернул. Зазвал в директорскую, на, говорит, отнеси Габышевой в больницу.

— Больше ничего не сказал?

— Ничего.

Затолкав ноги в тапочки, как была, в одной рубашке, Нина выбежала в коридор и швырнула тетрадь в печь.

— Ты что делаешь? — рванулась вслед Вера.

Но было уже поздно спасать. Подруги стояли рядом и молча смотрели, как клеенчатая обложка быстро свёртывается в огне, как печной ветерок листает страницы.

Вернувшись в палату, Нина ничком легла на кровать. Перепуганная подружка сидела тихо, притаившись.

— Нин, зажечь свет?

— Не надо, так лучше. Послушай, Вера...

— Что? — откликнулась та шёпотом.

— Как ты думаешь... Любовь — она может вдруг пройти?

— Как вдруг?

— А так: сейчас есть, а вот уже и нет.

— Вряд ли... Какая же она тогда любовь?

— А что же она тогда?

— Не знаю...

— Слушала я его сегодня и вдруг почувствовала: это не он. Это другой.

— Разочаровалась?!

— Нет, не так... Он настоящий человек. Но он — не он. Я это поняла. Он, оказывается, такой старый, седой. Похож на моего папу... А кто же тогда — он? Где он? Может, его совсем на свете нет?

— Не говори так, я прошу тебя. Он обязательно должен быть! Есть он!

Вера бросилась к подруге, обняла её за шею. Обнявшись, они долго сидели во тьме.

Закатное солнце отсвечивало в окнах школы на взгорке, и Аласову вдруг захотелось заглянуть в знакомые классы. Не противясь желанию, он решительно, прямо через сугробы, пошёл к школе.

Неделю он пробыл в райцентре. Придушив в себе всякую амбицию («хожу по инстанциям жалобщиком»), честно проделал он круг, который определил себе. Давал объяснения, коротал долгие сидения в приёмных, говоря себе: «О ребятах помни!» Это напутствие Нахова было ему как пароль. Побывал он и в райисполкоме, и в райкоме комсомола, у редактора местной газеты, опять у Сокуротова, а в конце недели — у Платонова в роно.

Беседа у них получилась престранная. Платонов дал ему высказаться до конца — до того, что и говорить было уже нечего. Завроно покряхтывал, передвигал с места на место какие-то чашечки, то поднимал глаза на Аласова, то опускал... А выслушав, коротко сказал: «Отменять приказ не собираюсь».

Таков был итог поездки.

А приехал — и сразу в больницу. Девочке, оказывается, ничуть не лучше. Ангина и воспаление лёгких — всё отразилось на сердце, Нина тает на глазах. «Мы ей обещаем скорую выписку, хотим подбодрить... — сказала ему медсестра, прежде чем пустить в палату. — Как же вы там учите, если умудрились довести девочку до такого состояния! Не обессудьте за прямое слово».

Нелепы были его шуточки и разглагольствования о погоде. Но ещё кощунственней прозвучали бы здесь тирады о любви к людям, о неременной победе хорошего над плохим. Какая тут, к чёрту, любовь, если девочку затравили! Случилась беда. Тут должны бы греметь все колокола, голосить все гудки, — бросайте дела, выбегайте на улицу!

Ходя по начальству, ты боялся произнести резкое слово о Пестрякове: как бы не подумали, что тут личное. Не заикнулся о странном директорстве Кубарова: славный ведь, в сущности, старик. Говорил о фальшивых оценках Кылбанова, а нужно было вообще о пребывании в школе этого растленного типа. Борешься, да с оглядкой. Шаг вперёд, два шага в сторону. Почему, не добившись толку в райцентре, не сел в самолёт, не отправился в министерство, в обком партии? Пороху не хватило? Нет, брат, за правду всё-таки борются, а не просто защищаются.

Ну, погоди ты у меня, «застенчивый жалобщик!» — пригрозил Аласов себе самому. словно новое зрение открылось ему в больнице, такой решимостью и убеждённостью был он наполнен! Говорят, понять свою ошибку — это уже шаг. Он сделает и второй шаг, и третий. Он сделает!

Не много времени прошло с того дня, как выставили его из школы, а поди же ты — словно год здесь не был. Как-то даже отвыкнуть успел: классная доска, стенгазета, бачок с водой, кружка на цепи. Аласов тяжело вздохнул — ах, школа, школа, боль моя и радость.

Пустая школа, но, оказывается, не один он был в этот час под её крышей, — какой-то замешкавшийся мальчонка вдруг выскочил из класса, округлившимися глазами, по-детски не скрывая изумления, посмотрел на Аласова: «Здравствуйте...» — и пулей вылетел вон.

На доске объявлений на одной кнопке висела записка, обращённая к членам кружка натуралистов. Аласов прикрепил её понадежнее. Записка была написана рукой Майи.

В учительской просмотрел несколько классных журналов. Евсей Сектяев честно тянул тяжкий для него воз исторической науки: все уроки во всех классах провёл согласно расписанию. И только у десятиклассников по истории СССР — чистые графы. Значит, не разрешило начальство внести оценки, которые передал Аласов через Сектяева. Секретарша в роно под большим секретом сказала ему, что в Арылах ждут нового историка — сделан срочный запрос. Так-то оно! Ты всё надеешься, а на твоё место уже едет новый человек...

Но сегодня он был в больнице. Сегодня он сказал себе: «Баста! Кончился застенчивый и пугливый жалобщик». И что бы там ни шептала секретарша роно, а он хозяином вошёл в свою школу. За неё он ответчик целиком.

Высыпали ранние звёзды. Звучно повизгивал снег под подошвами. Из глубины улицы, из мгlistой дали спешил человек. По тому, как быстро он шёл, чувствовалась тревога, не беда ли какая?

— Сергей!

Это была Майя. Она тяжело дышала.

— Здравствуй, Майечка. Что случилось?

— Ты... На работу вернули?

— Нет, не вернули.

— Ка-ак? Что же... Что же ты делал в школе?

Оказывается, прибежал соседский парнишка, Нюргун из пятого «Б», кричит на весь двор: «Сергея Эргисовича вернули! Сейчас в школе своими глазами видел». Вот Майя и помчалась.

— Ах ты, глупая Майка.

Он взял её за плечи. Словно ожидая этого, она припала к нему.

— Сергей, не бросай меня... Я тебя очень люблю!

У дома Пестряковых от тёмной стены отделилась тень и скользнула за угол сарая. Надежда Пестрякова! Пришла посмотреть в окно на своих детей. Аласов скосил глаза на Майю: заметила ли она?

Нет, не заметила. Лицо её было счастливое и как бы летящее. Любимая моя! Неужели это правда? Остановил, повернул её к себе:

— Майка, неужели правда?